PROJECT MUSE

Взаимное сравнение и история: Некоторые предложения, подсказанные изучением российского материала



Алессандро СТАНЦИАНИ

Ab Imperio, 4/2011, pp. 35-58 (Article)

Published by Ab Imperio
DOI: *https://doi.org/10.1353/imp.2011.0024*

For additional information about this article
https://muse.jhu.edu/article/467002

[18.234.165.107] Project MUSE (2024-03-28 16:03 GMT)

Алессандро СТАНЦИАНИ

ВЗАИМНОЕ СРАВНЕНИЕ И ИСТОРИЯ.

Некоторые предложения, подсказанные изучением российского материала*

В своей недавней статье Гарет Остин вернулся к предложению, выдвинутому несколько лет тому назад Кеннетом Померанцем и Бин Вонгом, о необходимости проведения своего рода "взаимного сравнения", в котором Африка (сфера научных интересов Остина) или Китай (Померанц и Вонг) не рассматривались бы исключительно сквозь призму западной модели, взятой за некий безусловный образец.[1] Основной принцип, лежащий в основе этого предложения, есть не что иное, как желание избежать "европоцентризма", свойственного большинству исследований по экономической истории. Между тем стратегии, предложенные этими авторами, вписываются в особую перспективу в том смысле, что они вовсе не прокламируют некой "особенности" Китая или Африки в сравнении с Западом. Как утверждает Остин, вместо того, чтобы отвергать любую общую модель экономического развития, следует выработать широкое определение города, рынка или частной собственности, учитывающее практики, свойственные неевропейским регионам.

* Перевод с французского Ирины Мироненко-Маренковой.

[1] Gareth Austin. Reciprocal Comparison and African History: Tackling Conceptual Eurocentrism in the Studies of African Economic Past // African Studies Review. 2007. Vol. 50. No. 3. Pp. 1-28; Kenneth Pomeranz. The Great Divergence. Princeton, 2000. P. 8; Bin Wong. China Transformed. Ithaca, 1997.

[18.234.165.107] Project MUSE (2024-03-28 16:03 GMT)

В данной статье я хотел бы проанализировать это предложение. Отказ от европоцентризма и обсуждение существующих альтернативных решений (использование более общей модели или, наоборот, изучение специфики регионов) заслуживают пристального внимания. Речь идет о том, чтобы предложить новое определение взаимного сравнения, отличное от того, что применяют упомянутые авторы. Моя цель состоит не столько в выработке новой "общей модели", сколько в примирении особенностей специфического исторического пути того или иного региона со связями, взаимным обменом и динамикой, присущими целому. Это сравнение является взаимным в том смысле, что за первым этапом, когда выявляются характерные черты, присущие какому-либо региону, следует второй этап, на котором эти же самые элементы применяются для изучения других регионов. К примеру, вместо того чтобы избегать изучения российского материала исключительно через призму некой идеальной западной модели, следует ту или иную "западную" территорию рассмотреть с точки зрения российских особенностей. Этот анализ может осуществляться в три этапа. Прежде всего, очевидно, что понятия "город", "буржуазия" или "собственность" в своих главных чертах, какими они предстают, например в Великобритании в середине XIX столетия, кажутся неприменимыми для описания социальных и экономических отношений в России. Во-вторых, мы увидим, что невозможно охарактеризовать эти понятия в российском контексте, не учитывая феномена взаимного обмена между Англией (и в целом Европой) и Россией. И наконец, такой подход позволит продемонстрировать, что, отталкиваясь от особенностей включения этих понятий в социальные отношения в России, можно сформулировать новые вопросы для изучения того или иного европейского или даже азиатского или африканского региона. Например, в силу каких причин общинные земли в Великобритании исчезли, хотя во многих других странах они на протяжении длительного времени сопровождали развитие рынка?

Окончательное суждение станет результатом структурно повторяющегося анализа, в котором изучаемые территории будут сопоставляться, не опираясь на некий идеальный тип или статические формы противопоставления (Россия в сравнении с Западом), а, напротив, с учетом феноменов взаимного общения и заимствования. Таким образом, в отличие от Остина и Померанца, я веду речь не о том, чтобы показать, что Китай, Африка или Россия были намного более развиты и вовлечены в рыночные отношения, чем это утверждают традиционные интерпретации, а о том, чтобы понять, с какими историческими формам

“рынка” мы имеем дело. Как только будет охарактеризована эта форма, потребуется изучить ее историческую динамику, чтобы можно было проводить постоянное сравнение с другими регионами. Этот подход, несомненно, многим обязан перекрестной истории (*histoire croisée*);[2] мы учтем ее главные достижения, не будучи, однако, столь же строгими в отношении сравнения. В действительности, сравнение может быть включено в анализ при условии, что оно проложит дорогу подлинно повторяющемуся и взаимно параллельному процессу изучения исторической динамики, а также создания и использования источников. Ведь феномены встречи разных миров и циркуляции опыта хоть и помогают прояснить многие вопросы, однако не отвечают на все. Например, по каким причинам Китай эпохи Мин отказался начиная с XVI в. от дальних плаваний, хотя раньше поощрял их, а бенгальские торговцы и европейские компании настаивали на их продолжении?

Именно на основе достижений перекрестной истории можно применять новые формы сопоставления, подобные той, о которой мы пишем. Этот метод подразумевает ответ на четыре основных вопроса:

1. Как согласовать особенности культурных ареалов или того или иного региона со сравнительным анализом?
2. Как совместить общие волны капитализма (заимствуя выражение Броделя) с местной динамикой, т.е. разглядеть локальную темпоральность в истории, которая все-таки остается глобальной?
3. Как учитывать особенности создания источников (специфику историческую, географическую и т.п., т.е. контекст создания источников), не отказываясь от пунктов 1 и 2?
4. Как избежать двух подводных камней компаративистики, а именно, с одной стороны, применения тавтологических моделей и, с другой стороны, простого противопоставления двух объектов?

Поскольку эти вопросы взаимосвязаны, мы не будем отвечать на них в жестком порядке, вне всякого историографического контекста, а рассмотрим их в логической перспективе. На деле основополагающим является историографический контекст, отсылающий к сравнительным практикам и к их эмпирическому измерению. Научные дебаты будут, насколько это возможно, соотнесены мною с эволюцией сравнительных практик на протяжении последних десятилетий. Особое внимание будет

[2] Michael Werner et Bénédicte Zimmermann (Eds.). De la comparaison à l’histoire croisée. Paris, 2004.

уделено сфере моих собственных исторических интересов, а именно истории России XVIII–XIX вв.

Угол зрения, под которым Александр Гершенкрон рассматривает сравнение, поможет высветить связи этого метода с исследованиями 1960–1970-х гг., посвященных изучению развития/отставания; затем мы остановимся на недавних неоинституционалистских интерпретациях. В опровержение этих подходов будут упомянуты достижения культурного поворота (*cultural turn*), антропологии и *subaltern studies* (исследования угнетения/подчинения), и в завершение мы обратимся к взаимному сравнению.

Экономическое отставание в историческом измерении

Александр Гершенкрон широко известен главным образом благодаря своей книге "Экономическая отсталость в исторической перспективе".[3] Между тем трудно совместить эти две категории – понятие отставания и историческую темпоральность. Дело в том, что экономическое отставание подразумевает некоторое логическое время. С XVIII в. и до наших дней сравнение российской экономики с экономикой ведущих европейских стран вписывается в более общую дискуссию о понятии "отставания". Для этой дискуссии требуется некая шкала сравнения, которая принимала бы во внимание не только экономический рост, но и так называемые факторы "торможения". Схема сравнения выстраивается на основе ряда элементов, которые в свою очередь вычленяются из некоего идеального западного типа. Я не буду воссоздавать историю этой модели,[4] ограничившись лишь описанием ее главных составляющих.

Книга Гершенкрона являет собой отличный пример применения описанного выше подхода к российскому материалу. Действительно, подобно Максу Веберу и многим другим исследователям до него, Гершенкрон предварительно создает список характеристик западного мира, на основе которого будет проведено сравнение; он тоже делает акцент на городах, буржуазии, рынках и частной собственности. Впро-

[3] Alexander Gershenkron. Economic Backwardness in Historical Perspective. Cambridge, MA, 1962.

[4] См. мою статью: Alessandro Stanziani. Free Labor – Forced Labor: an Uncertain Boundary? The Circulation of Economic Ideas between Russia and Europe from the 18th to the Mid-19th Century // Kritika. Explorations in Russian and Eurasian History. 2008. Vol. 9. No. 1. Pp. 1-27.

чем, в отличие от Маркса и частично от Вебера, он считает, что можно перейти к индустриализации (но не к капитализму) без буржуазии. Для этого "отстающие" страны, если использовать жаргон 1960–1970-х гг., такие как Пруссия и Россия, располагали "замещающими факторами", в частности государством. Это мудрое решение проблемы, заключающейся в необходимости согласовать историческую специфику и общую динамику. Отставание сочетается с разнообразием, и благодаря этому становится возможным представить себе альтернативные пути развития.

Однако зададимся вопросом: действительно ли это решение позволяет избежать смешения исторического и логического времени? В самом деле, вопреки тому, что может показаться на первый взгляд, Гершенкрон все-таки не сравнивает Россию и Англию в конкретных исторических контекстах. Он сопоставляет скорее некий идеальный образ западного мира (в частности, Англии) с таким же идеальным образом России XIX в. Развитие Англии ассоциируется с ранним учреждением парламента, переходом в частную собственность общинных земель и проистекающим отсюда зарождением пролетариата, который может быть занят в сельском хозяйстве и промышленности. Россия, напротив, характеризуется отсутствием торговых городов и, следовательно, буржуазии, а также наличием земельной аристократии, живущей за счет крепостного права, но вдали от собственных имений.

Эти положения берут исток в работах об Англии и России, известных в эпоху, когда писал и Гершенкрон, и прежде всего в общих работах от Маркса до Полани, в которых акцент делался на упомянутых характеристиках английской промышленной революции. Советская и западная историография вполне единодушно трактовали ограниченный эффект реформ 1861 г. (отмена крепостного права), последовавшее за этим обеднение крестьян и ограниченный характер индустриализации в царской России.[5] Следуя за авторами исторических работ, Гершенкрон с большим доверием относился к экономическим и статистическим исследованиям, опубликованным в России между 1870 и 1930-ми гг. Однако, хотя эти работы и являются кладезем фактических сведений,

[5] Лишь несколько примеров: Jerome Blum. Lord and Peasant in Russia from the Ninth through the Nineteenth century. New York, 1964; Richard Hellie. Enserfment and Military Change in Muscovy. Chicago and London, 1971; Peter Kolchin. Unfree Labour: American Slavery and Russian Serfdom. Cambridge, MA, 1987; Daniel Field. The End of Serfdom: Nobility and Bureaucracy in Russia, 1855–1861. Cambridge, MA, 1976; И. Д. Ковальченко. Русское крепостное крестьянство в первой половине XIX века. Москва, 1967.

[18.234.165.107] Project MUSE (2024-03-28 16:03 GMT)

необходимо, как мы уже отмечали выше, учитывать обстоятельства их создания. Речь идет не о том, чтобы поставить под сомнение российскую статистику рубежа веков, и вовсе не о том, чтобы "исправить" ее в соответствии с той или иной статистической теорией, а об учете эмпирических методов и интеллектуальных и политических условий той эпохи.[6] Так, экономическая и социальная статистика, созданная в России на рубеже веков, была в большинстве случаев плодом труда интеллектуалов, специалистов и иногда просто энтузиастов, привлекавшихся к делу земством – институтом местного самоуправления. Эти авторы стремились продемонстрировать неполноту реформ, ограниченность самодержавия и обеднение крестьян. Несмотря на значительные расхождения между "марксистами" и "народниками", в этом конкретном вопросе они были единодушны. Они выбирали типичные случаи и переменные величины, чтобы подтвердить свои гипотезы. Так, Каблуков, профессор экономики и статистики Московского университета, в начале XX в. ответственный за статистику по Московской губернии, уточнял, что крестьянин должен классифицироваться как *мещанин* (мелкий буржуа), как только он покупает землю в частном порядке.[7] В его понимании крестьянин по определению не мог располагать достаточным количеством земли для удовлетворения нужд своей семьи.[8] Подобные источники лежат в основе труда Гершенкрона, который, таким образом, дважды игнорирует исторический контекст: в отношении самих источников, созданных на рубеже веков, и в отношении использования специфического эмпирического метода их анализа.

Между тем этот подход всецело господствовал в 1960-е гг.: конкретная историческая ситуация могла быть вписана в более общую схему экономического развития; отсюда вытекало сравнение по аналогии, без учета условий, в которых создавались исторические источники. Вот почему можно было использовать примеры из истории России, в частности споры "марксистов" и "народников" 1870−1914 гг., в дискуссии о политике развития Азии, Африки или Латинской Америки в 1960-е гг.[9]

[6] Alessandro Stanziani. L'économie en révolution. Le cas russe, 1870–1930. Paris, 1998.
[7] Н. А. Каблуков. Пособие при местных статистических обследованиях. Москва, 1910. С. 8-10.
[8] Alessandro Stanziani. Les enquêtes orales en Russie,1861–1914 // Annales HSS. 2000. 1. Pp. 219-241.
[9] Alexander Mendel. Dilemmas of Progress in Tsarist Russia. Legal Marxism and Legal Populism. Cambridge, MA, 1961; Paul Rosenstein-Rodan. Problems of Industrialization of Eastern and South-Eastern Europe // Economic Journal. 1943. Vol. 53. June–September. Pp. 202-221; Gunner Myrdal. Economic Theory and Underdeveloped Regions. London, 1956.

В основе таких исследований лежало понимание истории как *magistra vitae* (“учительницы жизни”) и проистекающие отсюда закономерные соблазны. Такие исследования были более “актуальны”, но пренебрегали исторической спецификой. Применявшиеся в них сравнения были даже не анахроничными, а просто вневременными.

* * *

Распад колониальной системы и окончание холодной войны не только не положили конец подобным работам, а, наоборот, вдохнули в них новую жизнь. “Переход” к капитализму бывшего советского блока, а также стран Латинской Америки и, разумеется, Китая и Индии стал рассматриваться как неизбежный результат той экономической модели, которая, как считалось, работает повсюду. Неоинституционалистская экономика, о которой среди прочих писал Дуглас Норт, стала господствующей парадигмой в сравнительной экономической истории.[10] Вместо упоминаний об идеальном конкурентном рынке, характерных для либеральной и неоклассической мысли, неоинституционалистская теория приняла всерьез критические замечания тех, кто рассматривал рыночную экономику как особую историческую структуру. Тем самым ей удалось интегрировать институциональные явления в неолиберальный подход: институты эффективны в той мере, в которой они позволяют отвечать на “несовершенства рынка”.

Так, согласно этой теории, общинное землевладение, начиная с XVIII в. критиковавшееся как источник экономической неэффективности, оказывается фактором защиты от рисков в эпоху, когда рынки были еще столь несовершенны, что не позволяли быстро компенсировать плохой урожай в одном регионе за счет излишков в других регионах.[11] Такая уловка позволяла объяснять жизненность русской крестьянской общины и даже крепостное право в Восточной Европе “несовершенствами рынка”.[12] Фактически любому институту, существовавшему

[10] Douglass North, Robert Thomas. The Rise of Western Civilization: A New Economic History. Cambridge, 1973.

[11] Deidre McCloskey. The Open Fields of England: Rent, Risk, and the Rate of Interest, 1300–1815 // David Galenson (Ed.). Markets in History: Economic Studies of the Past. Cambridge, 1989. Pp. 5-51; Randall Nielsen. Storage and English Government Intervention in Early Modern Grain Markets // The Journal of Economic History. 1997. Vol. 57. No. 1. Pp. 1-33.

[12] Tracy K. Dennison. Did Serfdom Matter? Russian Rural Society, 1750−1860 // Historical Research. 2003. Vol. 79. No. 203. Pp. 74-89.

на протяжении человеческой истории, оказалось возможным найти экономическое оправдание.

Единственное отличие этого подхода от предыдущих состоит в том, что отныне список факторов развития составляется на основании единственного критерия: эффективность и минимизация операционных издержек. Эта схема применялась для осмысления очень разного исторического опыта, в том числе опыта России и СССР. Используя теорию стоимости коммерческих операций и информационной экономики, нобелевский лауреат по экономике Джозеф Стиглиц очертил границы чисто рыночного равновесия, а также описал деформации, вызванные советской бюрократией и всякой командной экономикой в целом.[13] Идет ли речь о рынке в Африке в XIX в., о крепостном праве в России или европейских ярмарках Нового времени, всюду применяется одна и та же модель: не случайно в неоинституционалистской теории говорится не столько о капитализме, сколько о рыночной экономике. Этот подход отказывается от классификаций экономических систем, предложенных в традиционной неоклассической и марксистской литературе (капитализм, крестьянская экономика, феодализм и т.д.). Вместо них мы найдем типологию организаций, чья эволюция тесно связана с эволюцией институционального контекста. Между тем этот подход не позволяет объяснить связь, существующую между институциональными изменениями и формами организации рынка: являются ли институты следствием или причиной экономического поведения? Применительно к истории СССР этот вопрос звучит так: была ли экономическая неразвитость причиной политического ослабления или, наоборот, институты, существовавшие в СССР, препятствовали развитию рынка и неминуемо влекли его распад?

Это вопрос, вполне безобидный с точки зрения историка, не является таковым в контексте дискуссий о политике развития, особенно в 1990-е гг. Тогда широко дебатировался вопрос о том, нужно ли было сначала внедрять рыночные институты и демократическую политическую систему, чтобы создать рынок, или же, наоборот, рынок сам, развиваясь, создает адекватные институты. Этот вопрос, кажется, уже нашел свое разрешение, так как вопреки "политически корректным" аргументам, увязывающим капитализм и демократию, китайский и российский опыт последних лет подтверждает, что это уравнение вовсе не обязательно – ни с точки зрения политической философии, ни как результат исторического наблюдения.

[13] Joseph Stiglitz. Whither Socialism? Cambridge, MA, 1994.

Теперь мы лучше понимаем мысль Гарета Остина, приведенную в начале статьи: важная роль, которую рынки играли в Африке, свидетельствует о том, что отличия от Европы связаны не с некой антирыночной ментальностью, не приемлющей идею прибыли, а исключительно с институциональным давлением, как внутренним, так и внешним (коррупция, колониализм и т.д.).[14] Несомненно, такая позиция отражает справедливое стремление вырваться из апорий некоего африканского несходства, обусловленного "ментальностью", которые всегда подстерегают сторонников релятивистского и культуралистского подхода. Однако при таком подходе из поля зрения историка исчезнет все, что связано с экономической антропологией: согласно неоинституционалистской теории – прилагается ли она к России XVIII в., СССР XX в., Китаю или Латинской Америке, – "ментальность" практически не влияет на экономическое поведение, и оно зависит исключительно от институционального принуждения.[15]

Может показаться, что эти замечания весьма далеки от привычного исторического взгляда; несомненно, они зачастую тавтологичны и не позволяют увидеть исторические трансформации во всей их сложности. Между тем возникает вопрос: может ли обращение к ментальности, к различным формам "неоптимизаторской рациональности" и, шире, к антропологии способствовать проведению менее механических сравнений?

Вклад антропологии и культурного поворота

Экономическая история в своем наиболее традиционном варианте всегда была мишенью для всех тех, кто подчеркивал существование фундаментальных различий между обществами и, следовательно, невозможность использовать одну и ту же модель для объяснения социально-экономической динамики, различающейся как во времени, так и в пространстве.[16] С 1970-х гг. этот аргумент добавился к более общему аргументу, согласно которому существовала непреодолимая дистанция между историей и социальными науками, с одной стороны, и новой

[14] Gareth Austin. Reciprocal Comparison and African History.

[15] Подробнее об этом см.: Alessandro Stanziani. Information, institutions et temporalités. Quelques remarques critiques sur l'usage de la nouvelle économie de l'information en histoire // Revue de synthèse. 2000. No. 1-2. Pp. 117-155.

[16] См., например: Bernand Lepetit. Une logique du raisonnement historique // Annale ESC. 1993. No. 5. Pp. 1209-1219; dossier "Histoire et sciences sociales" // Annales ESC. 1983. Vol. 38. No. 6; Jean-Claude Passeron. Le raisonnement sociologique. Paris, 1991.

[18.234.165.107] Project MUSE (2024-03-28 16:03 GMT)

экономической историей, теоретической экономикой и естественными науками, с другой стороны. Этот подход снискал большой успех у тех, кто полагал, что необходимо выявить особенности развития, присущие каждой стране. Экономическая и социальная политика должна была адаптироваться к местному "контексту". Этот релятивизм, во многом антиимпериалистический, но также и антииндустриалистский, имел двойное преимущество по сравнению с указанными ранее подходами: здесь не брался за образец некий мифический Запад, а в схему сравнительного анализа вновь вводилась "суперструктура". Фуко и Клиффорд Гирц вторгались на территорию историков, многие из которых ссылались на похищенный язык и на подчиненность, устанавливающуюся через язык, "культуру" и т.д. В труде Эдварда Саида, посвященному ориентализму, эти понятия оказались помещены в развернутый интеллектуальный и политический контекст: господство Запада осуществлялось прежде всего через изобретение некого отстающего Востока.[17] Ларри Вульф расширил эту схему, применив ее к России. Он подчеркнул, что понятие "Восточная Европа" было изобретено в XVIII в. в дискуссиях, имевших место во Франции, Пруссии и Англии. Оно явилось следствием различения, проведенного между либеральной и капиталистической Западной Европой и деспотической и феодальной Восточной Европой. Это противопоставление в конечном итоге стало инструментом политического и экономического господства Европы над Россией.[18]

Между тем, как отметил Майкл Конфино, выражение "Восточная Европа" стало широко использоваться в европейском дискурсе очень поздно, лишь к концу XIX в., т.е. спустя больше ста лет после эпохи, упомянутой Вульфом. Из этого следует, что хронология культурного изобретения не совпадает с хронологией сравнительных экономических и политических динамик.[19] Это наблюдение возвращает нас к точке отсчета: как европейские наблюдатели характеризовали Россию и крепостное право в XVIII в.? Каковы были экономические, политические и культурные последствия их оценок? И наконец, уверены ли мы, что Россия была в ту эпоху "почти периферией Европы"?

---

[17] Edward Said. L'orientalisme. Paris, 2005.

[18] Larry Wolff. Inventing Eastern Europe: The Map of Civilization on the Mind of Enlightenment. Stanford, 1994.

[19] Michael Confino. Reinventing the Enlightenment: Western Images of Eastern Realities in the Eighteenth Century // Canadian Slavonic Papers. 1994. Vol. 36. No. 3-4. Pp. 505-522.

В действительности, в Европе XVIII в. наиболее широко распространились образы России, отсылающие к двум взаимосвязанным элементам – деспотизму и крепостному праву. Эти темы рассматривались сквозь призму более глобальных дискуссий о свободе и труде и, следовательно, в контексте обсуждения проблемы рабства в колониях и корпораций во Франции, а также, разумеется, в связи с эволюцией монархии на французском шестиугольнике.[20] В 1763 г. Вольтер закончил свою историю Петра Великого и отправил копию Екатерине II.[21] В этом труде, как и в письмах к Екатерине, он занимает осторожную позицию по отношению к русским крепостным и утверждает, что было бы поспешностью освободить их, не просветив перед этим.[22]

В свою очередь Дидро, польщенный вниманием Екатерины, задавался вопросом: "Не влияет ли на культуру закабаление земледельцев? Не производит ли дурного действия отсутствие собственности у крестьян?" Его ответ лаконичен: "Не знаю, есть ли страна, где земледелец больше любит землю и свой очаг, чем в России. В наших свободных провинциях ничуть не больше зерна, чем в тех, что свободы не имеют".[23] В то время Дидро верил в реформаторские способности Екатерины и французской монархии. На этом основании он различал нации, которые, достигнув высшего уровня цивилизации, начали вырождаться, и нации, которые, находясь ближе к природному состоянию, могут приобщиться к культуре, избежав зол цивилизации. Он поместил Америку и Россию в число последних.[24]

Настроения меняются в 1770-е гг. из-за угасания реформ во Франции и в России. Начиная с 1780-х гг. Дидро и Кондильяк присовокупят свой скептицизм по отношению к просвещенному деспотизму[25] к более

[20] Albert Lortholary. Le mirage russe en France au XVIII siècle. Paris, 1948. P. 14; Jan Struys. Les voyages en Moscovie, en Tartarie, Perse, aux Indes et en plusieurs pays étrangers. Amsterdam, 1681; Pierre de la Martinière. Voyage des païs septentrionaux. Paris, 1671, 1682; John Perry. État présent de la grande Russie. La Haye, 1717 (ориг. англ. изд.: 1716).

[21] Voltaire. Histoire de l'Empire de Russie sous Pierre le Grand. Paris, 1763; перепечатано в: Oeuvres historiques. Paris, 1957.

[22] Voltaire. Lettres à Catherine II en 1762, 1765, 1766 // Correspondance. Genève, 1953–1965.

[23] Diderot. Questions a Catherine II sur la situation économique de l'Empire de Russie // Michel Tourneux. Diderot et Catherine II. Paris, 1899; перепечатано в: Mémoires pour Catherine II. Vol. 11. Pp. 813-817.

[24] Diderot. Observations sur le Nakaz de Catherine II // Œuvres politiques. Paris, 1963. P. 365.

[25] Michel Duchet. Anthropologie et histoire au siècle des Lumières. Paris, 1971. P. 134 sq.

общей критике европейской цивилизации. Как заметил Кондильяк, "слишком тесное общение с Европой способствовало не столько приобщению русских к цивилизации, сколько заимствованию пороков цивилизованных наций".[26] С этой точки зрения реформы в России напоминают сходные реформы во Франции и ее колониях. Такую позицию в общих чертах разделяло большинство философов.[27]

Стало быть, если философия XVIII в. весьма нерешительно формулирует свое отношение к абсолютизму и труду (принудительному), было бы совершенно некорректно утверждать, что русские дурно истолковали ее положения и преобразовали либерализм и идеи просветителей в реформы, нацеленные на примирение крепостного права и рынка, автократии и реформ. Действительно, вопрос, вставший перед Россией, – тот же вопрос о рабстве, обсуждавшийся во Франции: следует ли полностью уничтожить юридический статус крепостного или же изменить его? И следовательно, будет ли исключительно экономическое положение совместно с рынком определять политический и социальный статус или же оно будет включено в более сложный политико-моральный порядок? Влияние более радикальной, даже революционной мысли очевидно, например, в случае Радищева (внимательного читателя Рейналя).[28] Однако небезынтересно отметить, что наиболее радикальные русские оценки крепостного права чаще основываются на анализе американского, а не французского или европейского опыта.[29] Прямые сопоставления если и встречаются, то они несовершенны и

[26] Bonnot-Etienne Condillac. Œuvres complètes. Paris, 1947. Vol. XX (original de 1798). Pp. 63-64.

[27] О Кондорсе см.: Yves Benot. Condorcet journaliste et le combat anti-esclavagiste // Condorcet mathématicien, économiste, philosophe et homme politique. Paris, 1989. Pp. 376-384; Joseph Jurt. Condorcert: l'idée de progrès et l'opposition à l'esclavage // Ibid. Pp. 385-395.

[28] О влиянии Рейналя на Радищева см.: В. И. Моряков. Из истории эволюции общественно-политических взглядов просветителей конца XVIII века: Рейналь и Радищев. Москва, 1981; Allison Blakely. American Influences on Russian Reformists in the Era of the French Revolution // Russian Review. 1993. Vol. 52. No. 4. Pp. 451-471.

[29] О влиянии американских событий в России в эту эпоху см.: Blakely. American Influences on Russian Reformists; Richard Hellie. Slavery in Russia, 1450–1723. Chicago, 1982. Эта параллель между событиями в Америке и радикальным реформизмом прослеживается до начала века, когда восстание рабов на Санто-Доминго вызвало живое сочувствие Карамзина. См.: Н. Карамзин. Хроника // Вестник Европы. 1802. № 9. С. 83-84; См. также: Н. Карамзин. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. Москва, 1991.

являются частью сравнения трех или даже более систем. Русские авторы испытывают на себе влияние просветителей, однако толкуют его в свете немецкого камерализма. В любом случае, изобретение Восточной Европы относится не к этому времени. Существуют ли иные понятия, посредством которых могла бы осуществляться гегемония Западной Европы над Россией?

О зависимости

Следуя Грамши, авторы, относящие себя к *subaltern studies*, продемонстрировали, что язык являет собой элемент власти и фактор иерархии, а низшие классы и колонизированные народы в свою очередь не обязательно пассивны во взаимодействии с колонизаторами. Так, в колониальной Индии власть англичан осуществлялась через контроль и изменения в языке, как прекрасно видно на примере заминдаров. Бывшие откупщиками налогов при Моголах, они были признаны англичанами в качестве землевладельцев. В дальнейшем эта процедура способствовала контролю англичан над индийскими территориями.

Эта модель работает и в других контекстах: переводы, средства массовой информации, циркуляция юридических норм и язык международных организаций также описывались как инструменты власти и доминирования "Севера" над "Югом". Такие понятия, как рынок, обмен, семья, ребенок, собственность, наследство, крестьянин, рабочий и т.д., приобрели отныне местную специфику, невыводимую из более общей модели.[30] Безусловно, речь идет о большей дифференциации и выделении оттенков, даже об усложнении древовидной структуры обществ и культур по сравнению с тем, что предлагали упомянутые выше подходы. Мы имеем дело с дифференциацией-сопоставлением различных оперативных форм; зависимость, равно как и история элит и тех, кто осуществляет господство, больше не ограничивается жесткими рамками.

Впрочем, в этих подходах некоторые элементы неоднозначны, к примеру взаимодействие между элитами и подчиненными группами. Фредерик Купер отметил, что африканцы, индийцы и колонизированное население вовсе не так пассивны, как это утверждают *subaltern studies* и авторы, работающие в духе Грамши. Воздействие колонизированных народов на колонизаторов значительно, тем более что жестокость и

[30] Dipesh Chakrabarty. Provincializing Europe. Princeton, 2000.

[18.234.165.107] Project MUSE (2024-03-28 16:03 GMT)

программы, осуществляемые последними, не всегда реально воздействуют на колонию.[31]

Тот же самый вопрос возникает в отношении России: в какой мере то, как Европа характеризовала русскую автократию и крепостное право – эти своего рода идеальные типы, – стало составляющей ее доминирования над Россией?

Применительно к нашим дням закономерен вопрос о том, насколько тот факт, что МВФ экспортирует вневременные экономические понятия (сбалансированный бюджет, частная собственность, приватизация и т.д.), способствует зависимости России от Запада?

Рассмотрим первое положение. Вышеупомянутые исследования Вульфа об изобретении Восточной Европы, а также работы об ориентализме и *subaltern studies* в некотором смысле являются дополнением к теориям зависимости образца 1970-х гг. В одних акцент делается на доминировании посредством знаний, в других – на экономическом доминировании. В любом случае, "периферии" однозначно определены, а всемирная история есть история возникновения западного капитализма, господствующего над остальным миром.

Мы не будем останавливаться на методологической критике (детерминизм и исторический финализм, выводы, вытекающие по кругу один из другого, и т.д.), которую высказывали в адрес этих схем многие авторы.[32] Рассмотрим, однако, эмпирическую верность этих утверждений. Знаменитый аргумент, который Валлерстайн позаимствовал у других авторов, состоит в том, что экспансия западного капитализма была источником второго крепостного права в России: возросший спрос на пшеницу в Европе, в действительности, побуждал русских помещиков лишать крестьян свободы, чтобы получить необходимое для экспорта зерно. Результатом этого якобы стало международное разделение труда: Англия производила текстиль за счет наемного труда, а Россия продавала зерно, прибегая к крепостному труду. На самом деле ситуация была совершенно иной. Крепостное право утверждается в России с XV в. в связи с укреплением Московского государства; ограничения в свободе передвижения крестьян зависели от согласия или противоречий между государственными элитами и различными категориями землевладельцев.[33] Следует идентифициро-

[31] Frederick Cooper. Colonialism in Question. Theory, Knowledge, History. Berkeley, 2005.
[32] Блестящую критику в адрес subaltern studies и Валлерстайна см.: Cooper. Colonialism in Question.
[33] Richard Hellie. Enserfment and Military Change in Muscovy. Chicago, 1971.

вать социальные группы, которые могли владеть и передавать права на имения, заселенные крестьянами. Институциональная, социальная и политическая дифференциация между поместной и вотчинной аристократией и затем различия между этими двумя и прочими категориями (купцы, духовенство, ремесленники, крестьяне) являлись подлинной подоплекой введения норм, ограничивающих мобильность крестьян.[34] Эти трансформации происходили в XVI–XVII вв., т.е. намного раньше английской индустриализации, и, таким образом, мало связаны с влиянием Запада. Следовательно, идентификация социальных групп в России подчеркивает становление государственной власти в связи с московской экспансией в степи, с одной стороны, и противостоянием Польско-Литовскому государству – с другой.[35]

Таким образом, распространение барщины с XVIII в., о котором пишет Валлерстайн, обретает совершенно иное значение. Традиционное толкование системы крепостного права связывает расцвет барщины со снижением коммерциализации и замыканием помещичьего имения на самом себе, сопровождающимся растущим давлением на крестьян. Динамика развития русских имений той эпохи никоим образом не подтверждает этот аргумент. Экспорт зерна, относительно ничтожный вплоть до середины столетия, не перестает расти и к концу XVIII в. составляет около 20% всего российского экспорта.[36] Однако этот рост происходит вовсе не за счет местного и национального рынка. Начиная с 1760-х гг. возросший спрос на хлеб на местном и национальном рынке способствует росту цен,[37] что в свою очередь приводит к интеграции локальных схем в национальный рынок.[38] Помещики пытались изменить ситуацию, которая сложилась в первой половине столетия, когда городские торговцы приобрели контроль над хлебными рынками в городах и деревнях. С конца XVIII в., наоборот, помещики взяли в свои

[34] Daniel Kaiser. The Growth of Law in Medieval Russia. Princeton, 1980; Б. Д. Греков. Судебники XV–XVII веков. Москва; Ленинград, 1952.

[35] Alessandro Stanziani. Serfs, Slaves, or Wage Earners? The Legal Statute of Labour in Russia From a Comparative Perspective, From the 16th to the 19th Century // Journal of Global History. 2008. Vol. 3. No. 2. Pp. 183-202.

[36] Б. Н. Миронов. Экспорт русского хлеба во второй половине XVIII – начале XIX в. // Исторические записки. 1974. Т. 93. С. 149-188; Б. Н. Миронов. Внутренний рынок России во второй половине XVIII – первой половине XIX в. Ленинград, 1981.

[37] Там же.

[38] Boris N. Mironov, Carol S. Leonard. In Search of Hidden Information: Some Issues in the Socio-Economic History of Russia in the Eighteenth and Nineteenth Centuries // Social Science History. 1985. Vol. 9. No. 4. Pp. 339-359.

руки коммерциализацию продукции собственных имений и довольно решительно включились в схемы городской коммерциализации. Если еще в начале 1760-х гг. 413 из 1143 деревенских ярмарок (36%) проходили в имениях, то в начале 1800-х гг. их доля возросла до 51% (1615 из 3180 ярмарок).[39] Этому росту способствовали не только дворяне, но главным образом крестьяне, все глубже вовлекаемые в процессы коммерциализации зерна и протоиндустриальной продукции.[40]

В целом экономическая динамика России в XVIII столетии объясняется не ужесточением крепостного права в ответ на европейский экономический рост, а, напротив, ослаблением повинностей, лежащих на крестьянах, и прогрессивным включением крестьян и помещиков в рыночные структуры. Эта динамика не укладывается в официальные представления о "крепостном праве", а это означает, что после всего сказанного выше мы не имеем права употреблять это слово в его привычном значении, поскольку речь не идет о подлинном крепостном праве. Таким образом, российский случай еще нагляднее, чем случай Индии или колониальной Африки, демонстрирует, что тезис о зависимости (России) от Запада практически не находит подтверждения. Финализм и исторический детерминизм не позволяют разглядеть временной динамики, свойственной русскому контексту. Эти темы перекликаются с вопросами о преемственности и разрывах в сравнительной истории.

Вопрос о преемственности в истории

Наряду со многими другими вопросами, в своей знаменитой статье Гершенкрон рассмотрел вопрос о преемственности и разрывах в истории. Он считал, что эта проблема не имеет единственного решения и подход к ней зависит одновременно от изучаемого объекта, используемых материалов и задаваемых вопросов. Зато он верил в правомерность сравнения на основе схемы, внешней по отношению к анализируемому объекту. Предложенная им модель замещающих факторов толковала реформы 1861 г. как неполный разрыв с предшествующими периодами. Однако в случае России эта схема исследования не выдержала эпистемологических дискуссий и эмпирической проверки. В частности

[39] Б. Н. Миронов. Внутренний рынок России. С. 153-154.

[40] Alessandro Stanziani. Revisiting Russian Serfdom: Bonded Peasants and Market Dynamics, 1600–1800 // International Labor and Working Class History. 2010. Vol. 78. No. 1. Pp. 12-27.

в последние десятилетия во многих работах был пересмотрен знаменитый аргумент об обнищании крестьян после отмены крепостного права и о стагнации всей российской экономики,[41] который лежал в основе исследований Гершенкрона. Историческая демография зафиксировала заметное снижение смертности, обусловленное прежде всего улучшением питания, а также увеличение численности рекрутов.[42] Детальные исследования процесса распределения земельной собственности, в свою очередь, продемонстрировали, что крестьяне покупали значительное количество земли (как индивидуально, так и общинами).[43] И наконец, пристальное изучение индустриальных[44] и протоиндустриальных[45] предприятий показало, что эти секторы развивались гораздо более динамично, чем представлено традиционной историографией. Учитывая все, что известно о периоде до 1861 г., можно утверждать, что чаша весов склоняется в пользу преемственности: вместо выраженного перехода от феодализма к капитализму, от

[41] Esther Kingston-Mann. Marxism and Russian Rural Development: Problems of Evidence, Experience and Culture // American Historical Review. 1981. Vol. 84. October. Pp. 731-752; James Y. Simms, Jr. The Crisis in Russian Agriculture at the End of the Nineteenth Century: A Different View // Slavic Review. 1977. Vol. 36. Fall. Pp. 377-398; James Y. Simms, Jr. The Crop Failure of 1891: Soil Exhaustion, Technological Backwardness, and Russia's Agrarian Crisis // Slavic Review. 1982. Vol. 41. Summer. Pp. 236-250.

[42] Steven Hoch. Famine, Disease and Mortality Patterns in the Parish of Borshevka, Russia, 1830−1932 // Population Studies. 1998. Vol. 52. No. 3. Pp. 357-368; Idem. On Good Numbers and Bad: Malthus, Population Trend and Peasant Standard of Living in Late Imperial Russia // Slavic Review. 1994. Vol. 53. No. 1. Pp. 41-75; Idem. Serfs in Imperial Russia: Demographic Insights // Journal of Interdisciplinary History. 1982. Vol. 13. No. 2. Pp. 221-246.

[43] Judith Pallot. Land Reform in Russia 1906–1917: Peasant Responses to Stolypin's Project of Rural Transformation. Oxford, 1999; Cathy A. Frierson. Razdel: The Peasant Family Divided // Russian Review. 1987. Vol. 46. No. 1. Pp. 35-51; Robert Bideleux. Agricultural Advance Under the Russian Village Commune System // Roger Bartlett (Ed.). Land Commune and Peasant Community in Russia: Communal Forms in Imperial and Early Soviet Society. London, 1991. Pp. 196-218; Steven Nafziger. Communal Institutions, Resource Allocation, and Russian Economic Development / Ph.D. Diss.; Yale University, 2006; Idem. Land Redistributions and the Russian Peasant Commune in the Nineteenth Century. Working Paper, 2007; Idem. Land Communes and Factor Market Imperfections: Micro-Evidence from Late Nineteenth-Century Russia. Working Paper, 2005.

[44] Paul Gregory. Russian National Income, 1885−1913. Cambridge, 1982. Pp. 126-130; 168-194; 1999. Pp. 487-88.

[45] Dave Pretty. Neither Peasant nor Proletarian: The Workers of the Ivanovo-Voznesensk Region, 1885–1905 / Ph.D. Diss.; Brown University, 1997.

[18.234.165.107] Project MUSE (2024-03-28 16:03 GMT)

крепостного права к наемному труду мы сталкиваемся с комплексом неизменных элементов (выживание протоиндустрии и крестьянской общины, длительные тенденции в развитии сельскохозяйственных рынков и рынка в целом). Вместо того чтобы вызвать окончательный разрыв с предшествующей эпохой, отмена крепостного права придала дополнительное ускорение уже протекавшей эволюции крестьянской экономики, которая вовсе не была "неподвижной". В то же время реформы содержали принципиальное новшество: доступ к земельной собственности и право передачи заселенных имений больше не были исключительной привилегией благородного сословия, а распространились теперь на купцов и русскую "буржуазию". Другими словами, различие коренилось не в отношениях между дворянами и крестьянами, а, как и прежде, в сложной расстановке сил между помещиками, крестьянами, землевладельцами и государственной элитой, при том что каждая группа была очень неоднородна в плане доходов, происхождения и социальной роли. Такой образ России существенно отличается от того, что предлагает традиционная историография; он является результатом анализа, отказывающегося рассматривать страну исключительно через призму некого идеального Запада. Для лучшего понимания изучаемого предмета новый взгляд на него особенно плодотворен.

Взаимное сравнение и познание России

Как наглядно демонстрирует случай России, сравнения, проведенные на основе идеальных типов или общих моделей исторического развития экономики, равно как и теории зависимости не могут объяснить историческую динамику. Так, русское "крепостное право" в реальности было системой относительно гибких норм и правил, которые зиждились на фундаменте взаимодействия между собственниками, управляющими, крестьянскими элитами (старшинами) и всей сельской общиной. Классов в марксистском понимании этого слова не существовало, но и сословия *Ancien regime*, столь часто упоминаемые в дискуссиях о специфике России, на деле были более проницаемыми, чем это обычно утверждается. Русские крестьяне не более напоминали "рабов пашни", чем рабы в США. Они были зависимыми крестьянами, чья зависимость порой принимала крайние формы ("крепость"). Именно поэтому законодательные ограничения, довлевшие над трудящимися, не являлись препятствием для развития рынка. Российская помещичья экономика

не соответствовала модели Витольда Кулы,[46] равно как и крестьяне не были такими, как их описывает Чаянов. Дворяне и крестьяне участвовали в рыночной и протоиндустриальной деятельности – вовсе не столь рудиментарной, как это трактуют упомянутые модели. Тот факт, что динамика рыночной деятельности в России не совпадала с динамикой рынка в Англии или Франции в ту же эпоху, не означает, что российская динамика несовместима с развитием рынка и промышленности. Напротив, из этого следует, что одинаковые результаты могут достигаться разными историческими путями. Ни формальный статус русских крестьян, ни общинная собственность не были сами по себе источником того, что Запад расценивает как отставание.

Теперь кажется заманчивым развернуть на 180 градусов европоцентристские подходы и обратить к Западу (или к одной из его частей) вопросы, которые нам подсказывает переосмысленный русский материал. Именно это можно было бы назвать "взаимной компаративистикой".

1. Если формальные и статусные проявления зависимости были совместимы с ростом рынка, почему же они были отвергнуты в Западной Европе?

В последние годы такого рода размышления привели к пересмотру идеи перехода от "феодализма" к "капитализму". С одной стороны, европейское крепостное право вновь стало предметом дебатов, так как в нем не нашлось ни идеальных типов крепостных, ни крепостных, прикрепленных к земле. Однако сам факт его наличия является доказательством того, что встречаются различные формы сосуществования зависимости и рынка.[47]

С другой стороны, были переосмыслены составляющие наемного труда. Например, в Великобритании *Masters and Servants Acts* – уголовное законодательство, распространявшееся на наемных работников, а также наложенные на них ограничения в передвижении, – играли

[46] Witold Kula. Théorie économique du système féodal. Paris, 1970, ориг. изд. на польском языке (1962).

[47] Edgar Melton. Population Structure, the Market Economy and the Transformation of Gutsherrschaft in East Central Europe, 1650−1800: The Cases of Brandenburg and Bohemia // German History. 1998. Vol. 16. No. 3. Pp. 297-324; Marc Raeff. The Well-Ordered Police State: Social and Institutional Change Through Law in the Germanies and Russia, 1600–1800. New Haven, 1983; Christoph Schmidt. Über die Bezeichnung der Stände (sostojanie–soslovie) in Russland seit dem 18. Jahrhundert // Jahrbücher für Geschichte Oesteuropas. 1990. Bd. 38. S. 199-211; William Hagen. Ordinary Prussians: Brandenburg Junkers and Villagers, 1500–1840. Cambridge, 2002.

значительную роль до конца XIX в.[48] Отсюда вытекает вопрос о трансформации, как в терминологическом, так и в практическом измерении, форм принуждения к труду, а также о том, где проходила граница между "свободным" и "наемным" трудом.

2. Если привилегии, которыми были наделены благородные сословия, не противоречили рынку, мы не можем продолжать изучать историю доиндустриальных обществ на основе таких идеальных типов, как юнкер, помещик, латифундист или рантье. Эту группу социальных типов обычно противопоставляли английским предпринимателям и американским фермерам. Между тем недавние исследования показали, что первая группа не всегда прибегала к принудительному труду и состояла не только из собственников, не проживающих на своей земле, а вторая группа зачастую пыталась навязать правила и уголовные наказания наемным рабочим, которые на деле были поденщиками и домашними слугами и чей социальный статус и условия жизни часто граничили с порабощением. Другими словами, русский материал побуждает нас писать новую сравнительную историю социальных групп и их экономических практик.

3. Нет полной эмпирической ясности и в том, что принуждение (закрепощение и рабство) объясняется скудостью населения. Русские источники никогда не упоминают этого факта для оправдания законов о закрепощении. Случаи Австралии и Канады – малочисленное население, но никакого рабства – подтверждают сомнения. И наоборот, английский опыт прекрасно показывает, что законодательное принуждение и уголовные санкции в отношении наемных рабочих множатся на протяжении XVIII в., во время промышленной революции, когда как раз происходил рост населения. Как же объяснить эти принудительные санкции, если речь не идет о демографическом дефиците? Внеэкономическими факторами – политика, культура закрепощения – или же иным функционированием рынка в ту эпоху?

4. Если согласиться с предыдущими утверждениями, то капитализм не будет обязательно ассоциироваться с пролетаризацией и зарождением рынка "свободного" труда. В исследованиях о США все чаще признается, что в середине XIX в. землевладельцы с Юга были, вероятно,

[48] Stanley Engerman (Ed.). Terms of Labor: Slavery, Serfdom and Free Labor. Stanford, 1999; Robert Steinfeld. The Invention of Free Labor: The Employment Relation in English and American Law and Culture, 1350–1870. Chapel Hill, 1991; Michael L. Bush. Servitude in Modern Times. Cambridge, 2000.

намного больше капиталистами в своем поведении, чем индивидуальные фермеры с Севера. Точно так же английский опыт (приватизация общинных земель и пролетаризация), несомненно, является исключением, поскольку правилом для Европы, по крайней мере до конца XIX в., было сохранение рабочих-крестьян.[49] Таким образом, нужно выяснить, появляются ли, – и если появляются, то когда, – "наемные рабочие" и рынок труда в прямом смысле этого слова. Во многих странах Западной Европы этот процесс происходил лишь на рубеже XIX–XX вв., а в других регионах еще позже.

5. Вкупе с динамикой неевропейских регионов и России эти факты свидетельствует о том, что, вопреки неоинституционалистской теории, но также и традиционному марксизму, приватизация не является необходимым и достаточным условием для расцвета капитализма. Во Франции и Германии и даже в Великобритании и США долгое время, практически на протяжении всего XIX в., существовали ограничения юридической защиты частной собственности, особенно при ее противопоставлении "общественной пользе".[50] Примеры России в XIX в. и Китая в наши дни в еще более радикальной форме демонстрируют, что совершенно особые представления о собственности не являются препятствием для развития рынка.

6. Если Россия и Восточная Европа не являлись почти периферией Европы, то какого рода отношения поддерживались между этими регионами с XVII по XIX в.? Идет ли речь об иных формах рыночного и, может быть, даже капиталистического роста?

Недавняя колониальная история учит нас, что колонии дали Европе в плане ресурсов меньше, чем в политическом смысле;[51] Европа вывезла капиталов больше, чем сумела получить от своих колоний. Даже недавнюю попытку Померанца проанализировать под новым углом зрения "империалистическую" перспективу (американское сырье на службе Англии[52]) трудно измерить в количественном отношении и, следовательно, подтвердить. Зато нам теперь известно, что начиная с XVII в. Россия и Китай в своем развитии широко использовали вну-

[49] Sheilagh Ogilvie, Markus Cerman (Eds.). European Proto-Industrialization. Cambridge, 1996; Peter H. Lindert, Geoffrey Williamson. Revising England's Social Tables, 1688–1812 // Explorations in Economic History. 1982. Vol. XIX. Pp. 385-408.

[50] Alessandro Stanziani. Rules of Exchange. French Capitalism in Comparative Perspective, 18th–20th Centuries. Cambridge, 2012.

[51] Cooper. Colonialism in Question.

[52] Pomeranz. The Great Divergence.

[18.234.165.107] Project MUSE (2024-03-28 16:03 GMT)

тренние границы.[53] Значит, необходимо будет написать сравнительную историю колониализма.

7. Насколько сомнительным кажется вклад колоний в накопление европейского капитала, настолько же неоспорима ключевая роль труда в колониях и собственно в Европе до второй половины XIX в. и намного дольше – для колоний. Неравный юридический статус хозяев (это наименование точнее, чем более поздний термин "наниматель") работников сохраняется до конца XIX в. как раз потому, что труд является важной опорой экономической экспансии с XVII по XIX в.[54] С этой точки зрения Россия не является исключением, поскольку в Европе капитализм также продолжал интенсивно развиваться за счет труда, по крайней мере до середины XIX в.

8. Если согласиться с предыдущими утверждениями, то необходимо уточнять наши взгляды на международное разделение труда между развитыми промышленными и "отстающими" сельскохозяйственными регионами, где первые используют наемный труд, а вторые пользуются трудом прислуги, положение которой иногда граничит с положением крепостных (в России) и рабским трудом (в колониях и большей части Азии, Африки и Латинской Америки). Напрашивается также переосмысление теорий развития/отставания в развитии, разделения труда, международной торговли и ее последствий. В данной системе координат эволюция экономики и общества в Африке и Азии становится обязательным переходным этапом.

SUMMARY

In his article, Alessandro Stanziani takes his lead from recent discussions in comparative history on how to compare the history of Africa and China without the conventional circuit through Europe (Gareth Austin, Kenneth Pomeranz, and Bin Wong). The author suggests that eliminating Europe from the formula of historical experience of modern history may limit the historical analysis in its dimension of influence and interconnectedness in

[53] Peter Perdue. China Marching West. Boston, 2005.

[54] Sidney Pollard. Labour in Great Britain // Peter Mathias et Michael Postan (Eds.). The Cambridge Economic History of Europe. Vol. VII: The Industrial Economies: Capital, Labor and Enterprise. Cambridge, 1978. Pp. 97-179; Nicolas Craft. British Economic Growth During the Industrial Revolution. Oxford, 1985.

world history. Stanziani further suggests an approach that aims at both taking seriously the individuality of regional historical experience and looking at the global historical process. The most important part of this approach is the reciprocal comparison: what kind of questions historians can ask about the experience of modernization and industrialization in Western Europe if they start exploring cities, markets, and property in the periphery in their own contexts instead of asymmetrically comparing them with the normative model of Western history. Stanziani elaborates this approach on the basis of Russian economic history, critically scrutinizing the literature of modernization school and neoinstitutional school in economic history. Reversing mythological projections to the Russian preindustrialization economy and serfdom and deconstructing the symbolic language of underdevelopment, Stanziani contends that the origins of serfdom lay in the processes of structuration of Russian society and political power, that the system of the pre- and post-emancipation economy (partially based on communal landowning) could include economic growth and market-based relations, and that beginning in the eighteenth century, the Russian economy became an integral element of the world economy. Returning to the reciprocal comparison, the author asks whether historians should reconsider the history of capitalist modernity in Western Europe and North America given that private property and free labor were not necessary prerequisites of capitalist production and a market economy. From the viewpoint of comparative history, it would help to properly locate the emergence of phenomena such as dominant free labor and absolute private property in the relatively late period of the late nineteenth century, thus limiting the timeless ideal type of historical experience of the West and putting the comparison of the West and its periphery on the right track.


ИСТОРИЯ